

Флер¹ — покров, скрывающий что-нибудь.

Сергей Ожегов.
Толковый словарь русского
языка

Марии Перетягиной, возрождающей во мне желание бороться с обстоятельствами.

¹ Fleur — цветок (фр.).

*Упорен в нас порок, раскаянье – притворно;
За все сторицею себе воздать спеша,
Опять путем греха, смеясь, скользит дума,
Слезами трусости омыв свой путь позорный.*

Шарль Бодлер. Цветы зла

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Горшок с гортензиями

Любовь и работа – единственные стоящие вещи в жизни. Работа – это своеобразная форма любви.

Мэрилин Монро

Счастье пришло в жизнь Лёки, когда ей исполнилось четыре года. Именно в этом нежном возрасте ее взяла к себе жить тетя Мила, мамина старшая сестра, а по совместительству Лёкин ангел-хранитель.

Лёка любила тетю Милу и до того памятного дня, когда тетка перевезла ее к себе вместе с небольшим фибровым чемоданом, в котором хранилась Лёкина скромная одежда. Мила частенько забирала Лёку из детского сада, и каждый день в районе полдника, когда уже был выпит вкусный кисель или ненавистное горячее молоко с пенкой, или вполне себе терпимое какао и съедено овсяное печенье или витушка, посыпанная расплавившимся сахаром, или ватрушка с творогом, Лёка начинала то и дело поглядывать на дверь, ведущую из группы в раздевалку. Она загадывала про себя, что если придет мама, то вечер окажется скучным и тягостным, как горячее молоко с печеньем, если папа, то ровным и неинтересным, как какао с ватрушкой, а если Мила, то радостным и праздничным, как кисель со сладкой витушкой.

Папа забирал Лёку из садика примерно раз в неделю. В детстве она, конечно, не могла понять, с какой периодичностью это случалось, но потом, когда уже стала взрослой и вспоминала детство, по всем раскладам выходило, что так оно и было. Раз в неделю.

Он всегда терпеливо дождался, пока дочка, сопя и потея, натянет на себя вечно перекручивающиеся колготки, потом штаны и кофточку, затем шапку, неловкими пальцами застегнет петельку и пуговку на горле, криво наматает шарф, влезет в валенки и пальто на вате. Папа никогда не сердился на Лёку за то, что она копаётся, но и не помогал. Ждал, пока она справится сама.

Затем они степенно вышагивали по улице, и Лёка загребала галошами снег, с интересом разглядывая холодные и колкие снежинки, красиво лежащие на ее блестящие, будто лакированные, а на самом деле резиновые, галоши, купленные в «Детском мире». По дороге домой они нигде не останавливались и никуда не заходили. Шаг, второй, шарк-шарк, снежинки на галошах и вспотевшие маленькие пальчики внутри варежек на резинке.

Папа крепко держал Лёку за руку, но она совершенно точно знала, что думал он в этот момент о чем-то другом, уж никак не о Лёке и ее детсадовских заботах. Она несколько раз пыталась с ним заговорить, но папа будто не слышал ее бормотания и робких вопросов. Он не сердился, но и не отвечал, и Лёка постепенно перестала спрашивать. Просто шла домой молча и разглядывала снежинки, если дело было зимой, или листики, если осенью, или

клевер, которого почему-то особенно много было вдоль дороги из детского сада, если домой они шли летом.

Папа в дверях это было ничего, не страшно. Гораздо хуже было, если в дверях показывалась мама. Лёка вздрагивала и втягивала голову в плечи, осознавая все свое несовершенство. В такие дни колготки проявляли особенную вредность, и мама, не выдерживая, вырывала их у Лёки из рук и хлестала дочку по тощей, вздрагивающей от страха спинке. Шапку мама застегивала сама, и ее пальцы с острыми кровавого цвета ногтями каждый раз царапали Лёке подбородок. Эти ранки почти никогда не заживали, а появлялись снова и снова. И лишь в конце апреля, когда шапка отменялась, Лёка выдыхала с облегчением.

По дороге домой мама дергала Лёку за руку, чтобы та шла ровнее, высоким надтреснутым голосом ругала ее за какие-то неведомые провинности, тянула и иногда, потирая, поддавала под зад коленом. Ее страшно раздражало, что Лёка – такая тупая и медлительная черепаха.

Зато, когда за распахнутой дверью оказывалась Мила, жизнь расцветала яркими красками. Тетка ловко и споро одевала Лёку, колготки натягивались в мгновение ока, штаны и кофточки, а также шапки и прочие элементы гардероба порхали в ее легких руках. По дороге она покупала Леке мороженое, если было лето, или леденец на палочке, или вкусный ванильный сухарь, или конфету «Гулливер», и путь до дома был легким, сладким и очень коротким. Мила всегда расспрашивала, как дела в детском саду, переживала Лёкины горести и радовалась ее победам. Они вместе лепили фигурки из пласти-

лина на конкурс ко Дню урожая и собирали гербарий, и старательно склеивали новогоднюю гирлянду из разноцветных бумажных колечек.

– Из тебя бы вышла такая примерная мамаша, жаль, что тебя замуж никто не берет, – фыркала мама, стремительно несясь через «большую» комнату, в которой рукодельничали ее сестра и дочь, из спальни, где она печатала на машинке, в кухню, где на плите булькал суп. Капуста в нем всегда была безвкусной и по виду походила на важенные грязные тряпки.

– Я вот не понимаю, зачем ты ребенка родила, если так его ненавидишь, – парировала Мила. Свою младшую сестру она ни капельки не боялась.

– Да не рожала бы я, если б не залетела, – с досадой отвечала мама, а Лёка втягивала голову в плечи, думая, что если она станет совсем незаметной, то, может быть, не станет раздражать ее так сильно.

Понятно, что слов «залететь» и «раздражать» она не знала. А вот ощущение окутывающего и постоянного раздражения было. Она тонула в нем, как елочные игрушки, уложенные в вату, чтобы не разбились. Вот только никого не интересовало, может ли разбиться сама Лёка. Только Милу, которая ее почему-то любила.

Они даже внешне были похожи. Курносая, плосколицая, кудрявая Лёка как две капли воды походила именно на кругленькую, рыжую, тоже кудрявую Милу, а не на свою строгую сероглазую красавицу мать, талию которой можно было перехватить двумя пальцами. Причуды наследственности, что тут скажешь.

Маме было всего двадцать два года. Лёку она родила в восемнадцать, из-за этого не окончила институт и теперь работала машинисткой в редакции городской газеты, беря на дом основную работу и подработку. Мама печатала практически всегда. И долгое время Лёка даже не могла заснуть, если из соседней комнаты не раздавался стрекот печатной машинки и резкий звук сдвигаемой влево каретки.

Миле было двадцать шесть, она работала учительницей начальных классов, потому что слепо любила детей. Любых, без разбора. Будучи до сих пор одинокой, она охотно брала на себя заботы о Лёке, чтобы облегчить младшей сестре серые материнские будни, и в такие дни Лёка чувствовала себя счастливой, хотя бы ненадолго.

А потом счастья стало так много, что его можно было черпать ложкой. Есть, набрав с горкой как манную кашу с положенным в нее черничным вареньем. Или клубничным, что было особенно вкусно. Конечно, варенье в кашу клала только Мила. Мама считала, что это баловство, и ребенок должен есть то, что ему поставят перед носом.

Мила забрала Лёку жить к себе, потому что мама ждала второго ребенка, и это ожидание было совершенно невыносимым от того, что рядом отиралось такое глупое, ничемное и никому не нужное существо, как Лёка. Тупая медлительная черепаха. Так Лёка переехала к Миле, та купила ей черепаху, милейшее и совсем неглупое существо, и жизнь показалась прекрасной и удивительной.

Теперь Мила отводила Лёку в детский сад и забирала домой каждый вечер, а к родителям они ходили в гости

по субботам, и те два часа, которые они проводили за старательно накрытым столом, мама целовала и обнимала свою кровиночку, свою любимую маленькую девочку, поскольку чувствовала себя неловко от того, что сбагрила дочь из дома.

Без Лёки ей жилось гораздо спокойнее. Причем, когда беременность завершилась рождением в срок крепенького черноволосого младенца, Лёкиного братика, забирать дочь обратно она не торопилась. И когда брат пошел в детский сад, Лёка продолжала жить у Милы. А тетка завязывала ей банты и сшила платье Снегурочки. Лёка всегда была на детских утренниках именно Снегурочкой, потому что таких сказочных нарядов, как у нее, больше не было ни у одной девочки в группе.

Мила возила ее летом на море. Мила проводила ее в первый класс, крепко сжимая потную от волнения ладошку. Мила вытирала ей слезы, когда первого же сентября Лёка посадила чернильную кляксу на белый фартук, а им нужно было фотографироваться на память в лучшем фототелье города. Оценив масштаб бедствия, Мила стащила с Леки злополучный фартук, налила ей горячего борща, выдала горбушку хлеба и велела не реветь, а сама быстренько постирнула фартук под краном, а потом высушила утюгом, так что и следа не осталось. Завязывая на спине пышный бант, Лёка представила, как бы разозлилась из-за кляксы мама, и содрогнулась.

Жизнь с Милой была праздником. Как сказал Хемингуэй, пусть и не про Милу, а про Париж, это был – «праздник, который всегда с тобой». Тетка сказала Лёке эту пора-

жившую ее фразу, портрет Хемингуэя висел у нее в нише комнатной «стенки», вообще-то предназначенной для телевизора, и тетка зачитывалась и цитировала по поводу и без. Портрет был вырезан на дереве и покрыт черным лаком. Лёка боялась Хемингуэя, потому что тот следил за ней строгими, совсем как у матери, глазами, в каком бы углу комнаты она ни находилась. Она даже эксперимент проводила, отходила в дальний угол и ловила на себе этот презрительный взгляд человека, который видел все ее несовершенство. В общем, Хемингуэя Лёка не любила, но фраза про праздник, который всегда с тобой, ей понравилась, потому что она была про Милу.

Праздник кончился, когда Лёке исполнилось двенадцать. Мила неожиданно собралась замуж. Краснея и смущаясь, она сообщила, что встретила свою судьбу. Ею оказался пятидесятилетний вдовец с тремя детьми, старший служил в армии, а двое других учились в школе и вошли в тот самый сложный подростковый возраст, который требовал вмешательства родителей. Другими словами, совсем отбились от рук. Вдобавок ко всему жених жил в одном райцентре, находящемся от их города в трехстах километрах с гаком, и, по разумению Лёки, встреча с ним вряд ли тянула на судьбоносную. Но тридцатичетырехлетняя Мила так не считала. На эмоциональном подъеме носилась по квартире, собирая вещи, напевала, мечтала о том, что успеет еще родить ребенка, своего ребенка, и накануне отъезда передала Лёку родителям, будто и не замечая ее душевного состояния.

А Лёка оцепенела, замерзла, впала в анабиоз. Она не ела, не пила, не расчесывала волосы и не делала уроки, будто и забыв, что круглая отличница.

– А может, я с тобой поеду? – робко спросила она у Милы уже перед самым выходом из дома. – Ну и что, что райцентр, и там люди живут.

– Лёк, ты что? – всплеснула руками Мила. – У меня там и так два трудных подростка на руках будут, да еще свой народится, бог даст. Куда мне еще ты, в самом-то деле. Да и вообще. У тебя родители есть, хватит тебе в подкидышах ходить.

Если в добрых детских сказках Золушка превращалась в принцессу, то в данном случае обожаемая, холимая и лелеемая принцесса, наоборот, в одночасье превратилась в Золушку. Лёка еще удивлялась, почему не в жабу. Она мыла посуду, жарила брату омлет и разогревала суп, собирала по дому его носки и игрушки, помогала делать уроки и в перерывах между стрекотом пишущей машинки выслушивала мамины сетования на то, как же ей повезло с младшим сыном и как же не повезло с дочерью. Тупой медлительной черепахой.

Ее черепаха, принесенная в родительский дом в коробке из-под Милиных французских туфель, через две недели куда-то пропала. Лёка подозревала, что ее братик, милый Илюша, имеет к этому самое прямое отношение, поскольку днем раньше видела, как он пытался ножницами достать из панциря втянутую туда от ужаса перед неминуемой гибелью черепашкой голову, но доказательств

у нее не было, а мама раздраженно велела не приставать к ней со всякой ерундой. Не стало черепахи и слава богу.

Предательство Милы, а все случившееся Лёна, уже свободно оперирующая взрослыми понятиями, оценила именно как предательство, было воспринято ею даже не как трагедия, а как крушение всей жизни. Она точно знала, что больше никогда не сможет никому доверять. Что любовь, какой бы искренней и горячей она ни была, всего лишь иллюзия, которая рассыплется в прах при первом же удобном случае.

Она ни с кем не дружила и ни в кого не влюблялась, а при попытке приблизиться к ней тут же втягивала голову в панцирь, глубоко-глубоко, чтобы никто не мог дотянуться до нее острыми ножницами. Она была совершенно одна, и ей никто не был нужен до тех пор, пока в ее жизни не появилась Сашка.

Сашка родилась внутренне одинокой, хотя выросла в огромной и дружной семье, где все друг друга любили. У Сашки было пять старших братьев, как на подбор, высоких, статных, бородатых мужчин, говорящих громкими голосами, работающих на лесозаготовках, уважающих водку и из всех развлечений признающих только охоту.

Сашку они обожали, и она их тоже. Но при этом все равно оставалась как-то на отшибе, одна, как березка в поле. Сашка была похожа на неуклюжего щенка, активно тыкающегося острой мордочкой во все углы необжитого еще дома. Щенок Сашка да черепаха Лёна, они стали отличной парой, сдружившись на первом курсе института внезапно и на всю жизнь.